

A watercolor illustration of a river scene. On the left, a large tree trunk stands on a rocky bank. The river flows towards the right, with a small house visible in the distance. The style is soft and painterly, with visible brushstrokes and a muted color palette.

Вера Заведеева

Двое
ПОВЕСТЬ


BYBLOS

Вера Заведеева

Двое

«Библос»

2022

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

Заведеева В. Ю.

Двое / В. Ю. Заведеева — «Библос», 2022

ISBN 978-5-905641-03-9

Трагические события XX века обусловили нелегкую судьбу героя повести, который подводит «окончательные итоги» своей жизни. На его долю пришлось революции, Гражданская и Отечественная войны, Курсы военного контроля и разведки, ВЧК, оперативная работа, торговые представительства страны за рубежом, провал советской резидентуры в Персии, служба в московской и белорусской милиции, исключение из партии, а в наказание – служба в исправительно-трудовых лагерях на строительстве канала Москва-Волга, Норильского металлургического комбината и других предприятий. С первых дней войны, будучи пенсионером НКВД, в 54 года, – боец истребительного батальона в Подмосковье, «на пороге» своего дома, а затем до конца войны вновь призван служить на Севере, Кавказе и в Подмосковье. В конце жизни – одиночество, забвение и инфаркты. Повесть основана на документальных материалах и предназначена для думающих читателей.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

ISBN 978-5-905641-03-9

© Заведеева В. Ю., 2022
© Библос, 2022

Содержание

Двадцать лет спустя	6
Исповедь старого чекиста	9
Старинное Зарядье	9
В Петербург! Подальше от Москвы	13
Особая типография	16
Курсы разведки и военного контроля	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Вера Заведеева

Двое

© В. Ю. Заведеева, 2021, 2022

© ООО «Библос», 2022

* * *

«Венец каждой человеческой жизни есть память о ней, – высшее, что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет такой души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце».

Иван Бунин «Ночь»

Двадцать лет спустя

Озорные лучи весеннего солнца, пронзив густые кроны вековых корабельных сосен, добрались до потаенных уголков сада, неся погибель почерневшим от горя сугробам. Смолистый дурмящий воздух, тягучий, струящийся, обволакивал, будоража все живое. Радостный птичий гомон возвещал новый виток нарождающейся жизни. Легкий ветерок, заигрывая с клейкими листочками сирени, которые раньше всех вырываются из тесных объятий упругих почек, напоминает о том, что вскоре вся округа наполнится душистым ароматом бело-розово-фиолетовых гроздьев. Навострили зеленые ушки ландыши, обрадовались теплу вездесущие тюльпаны и нарциссы, а на старой клумбе, обрамленной кирпичными обломками, проклюнулись бордовые носики пионов, тесня любопытные первоцветы. Кусты смородины и крыжовника растопырили корявые ветви с салатowymi бусинками, обещая новый урожай. Голенастые яблони, стесняясь своей невзрачной наготы, застыли в ожидании бело-розового кружевного покрова. Наконец-то сад восстал от зимней спячки! Хозяйева! Пора на выход с лопатами и граблями!

На высоком крыльце когда-то респектабельной, но уже поблекшей зимней дачи, с трудом пережившей военное лихолетье, на майском солнышке о бренности бытия размышляли двое: «Какое счастье утром встать и жить на свете продолжать!» Доведется ли им встретить еще одну весну? Кто знает... Надо успеть насладиться этой... Эти двое так давно жили вместе, что казались окружающим единым целым. Оба седые, тяжелые на подъем, страдающие «сердечным кашлем», аритмией и ревматизмом, они смотрели на окружающий мир с одинаковым выражением брезгливого равнодушия старых импотентов. Они понимали друг друга с полувзгляда и уже давно не тратили силы на пустозвонство, разговаривая молча. Они даже двигались синхронно, и вздыхали, и кричали одновременно. А в последние годы и внешне сделались похожими, словно близнецы. Была у них в доме еще старуха-хозяйка, жена старшего из них, которой они позволяли себя кормить и обихаживать, но в свой мирок ее не допускали. Им было достаточно друг друга.

– Здравия желаю! – раздался с улицы бодрый голос. – С праздником!

У калитки остановился краснощекий колобок в генеральском мундире из коттеджа напротив, блистая всевозможными наградами и нетерпеливо гарцуя перед соседом, которого он слегка побаивался (кто их знает, этих «бывших» чекистов?) и к которому испытывал впитанную с молоком матери неприязнь хохла к еврею.

– Благодарствую, – поклонился ему старший – седовласый барин с орлиным профилем, – не вставая с кресла. – Вы, полагаю, на парад собрались? В Москву? На автомобиле... или так, на электричке? – съехидничал он, сбивая спесь с этого выскочки, которому уже давно не подают персональное авто, отлучив в одночасье от цековского «крыта».

– Да-да, – вспыхнул тот, и в глазах его заметались огненные стрелы, словно молнии в бархатную украинскую ночь. – Сын-то ваш тоже у Большого встречается со своими? Если увижу его там, привет передать? – уколол он зловредного старика-соседа. – Нечасто вас навещает. Оно и понятно: работа такая, да жены – одна за другой...

Колобок торжествующе-прощально махнул пухлой ручкой и отправился дальше. Последнее слово осталось за ним. И это главное.

* * *

День Победы так широко праздновали впервые. Впервые за двадцать послевоенных лет! До 1953 года – понятно почему: мнительный «отец народов» опасался, как бы герои войны не

потеснили его на пьедестале, обвинив в неготовности к отражению врага, в упорном нежелании верить очевидному и огромных человеческих жертвах. И в личной трусости в страшные первые дни. До самой столицы врага допустили! А потом? А потом его соратники грызлись друг с другом за власть, пока их не отпихнул от этого пьедестала самый хитрый из них, ошеломив страшными признаниями о делах недавнего «полубога», ушедшего в мир иной. Одним своим «секретным» докладом расколол огромную страну, посеяв в ней зерна смуты на будущие десятилетия. Потрафил народу «кузькиной матерью», открыл ему глаза на изверга, застенчиво умолчав, что и сам не без греха... и подготовку к празднику разрешил. Дата круглая, и есть еще кого поздравлять. Чего ему опасаться? Он в самой Америке на трибуне ООН грозил всем кулаком. Только вот праздник этот он сам встретил уже в звании персонального пенсионера...

Казалось, будто сам народ вдруг всколыхнулся, вспомнил о чувстве собственного достоинства, гордо выпрямился и двинул на самую главную площадь страны. Сам, без чьей-то команды, без строгих первомайских колонн, без портретов вечно молодых вождей, без транспарантов, знамен и прочих флагов. Движение в центре столицы остановилось: по главной улице шли ветераны – в стареньких кителях и выцветших, но старательно отутюженных гимнастерках – в той фронтовой форме победного 1945-го. В такт их шагам раздавалось дружное позвякивание наград – у кого целый «иконостас», у кого – лишь одна медаль... Оказалось, что инвалидов войны – великое множество: кто на костылях, постукивая не знающей износа деревянной ногой, кто и вовсе без ног, даже деревянных, – на самодельных тележках с шарикоподшипниками и «толкушками». И они «шли» в одном строю со всеми, согретые уже подзабытым фронтовым братством. Отринув боль и унижение безрадостной послевоенной жизни. Милиция не вмешивалась, только регулировщики движения предупредительно загоняли машины в переулки.

Офицеры и солдаты, моряки и летчики, бывшие партизаны и военные медики, мужчины и женщины, пожилые и чуть за сорок. Где-то играла гармошка, хором пели «Катюшу», «Синенький платочек» и другие песни военных лет, которые помогали держаться на фронте. Моряки на мостовой отплясывали задорное «Яблочко». Мужчины не стеснялись слез. Милиция жалась в сторонке: не велено было препятствовать этому стихийному шествию и пьяненьких, если сильно не буянят, – не трогать. Это – в столице, а в сорока километрах от нее, в небольшом подмосковном поселке на домах развевались красные флаги и шел митинг на пристанционной площади у базара. Люди вспоминали погибших на войне близких и тех, кто был погребен под развалинами собственного дома во время нескончаемых бомбежек 1941-го, тех, кто умер от холода, голода и болезней. Вспоминали девятиклассников местной средней школы, ушедших добровольцами на фронт в первые дни войны, о которых написал документальную повесть один из тех четверых, кому довелось вернуться из этого ада живым.

Наши герои на митинг не пошли – ноги больные, долго стоять тяжело... Но вселенское возбуждениехватило и их. Нахлынули воспоминания, растревожили душу самые разные мысли. Обоим захотелось выговориться. И, как всегда, молча. Первым не выдержал младший:

– А ты что же не надел свои награды?

– На старую пижаму цеплять, сидя дома? – усмехнулся старший. – Меня никуда не приглашали, – вздохнул он. – Правда, медаль «Двадцать лет Победы над Германией» вручили в поссовете. Ну ты же со мной туда ходил. Забыл?

– Конечно, ты ведь привык депутатствовать, в президиумах сидеть, а не на площади столбом стоять, – лягнул он слегка старшего. – А этому, – кивнул младший на соседский коттедж, – за что так много дали, аж на пузе повисло?

– Он воевал... Всю войну отступал, уж я-то знаю. Зато мимо наград не проскакивал, крыса начфинская, – пробормотал старик.

– Крыса!?! Где крыса? – всполошился младший, наострив ухо и изготовившись к отражению нападения.

– Вот черт глухой! Я тебе про начфина толкую, а ты...

– Да задремал я нечаянно, – заскулил младший. – Ночью ты спать не даешь, все ходишь, вздыхаешь чего-то... Почему же тебе не дали столько наград? Ты ведь тоже воевал, да? Все в поселке знают, что ты – важная птица. Как выйдешь на улицу в своем коричневом кожане и в кожаной фуражке со звездой... Многие и опасаются...

– Да, я в Гражданскую воевал. У самого товарища Буденного Семена Михайловича в Первой Конной. Орден Красного Знамени заслужил, только где-то он в штабах затерялся, так и не вручили... Почетные грамоты от командования имею. Ну я тебе же показывал их, помнишь? Потом на секретной службе состоял. За границей. И не только. А в последнюю войну по призыву товарища Сталина третьего июля 1941-го вступил в свои пятьдесят четыре года в 36-й истребительный батальон в нашем же районе. Знаешь, что тут творилось тогда? Думали, не сдюжим. А как немного отогнали в декабре немцев от Москвы, так меня на прежнюю мою службу призвали – молодых на фронт отправили, вспомнили про запасников. Самая дорогая награда на той службе – если свои же не расстреляют по законам военного времени. Да и довоенного, пожалуй.

– Что же это за служба такая? – наострил уши младший.

– Да такая, что и рассказывать страшно. Я в Бога не верю. Я большевик. Всегда им был. А сейчас будто исповедаться хочу. Смерть, что ли, ко мне присматривается? Пожалела с первым-то инфарктом? А мне даже поговорить не с кем. Сыну не до меня, да и ему не могу всего рассказать. Не имею права. Жене незачем все знать – у нее свои скелеты в шкафу. А душа уже не горит – плавится. Разве что тебе, моему самому верному другу, поведать все как на духу? Ты хоть и вредный стал до невозможности и брехливый сделался к старости, но знаю – не предашь до самой смерти.

Младший согласно тряхнул кудлатой головой и прикрыл глаза, приготовившись слушать.

Исповедь старого чекиста

Старинное Зарядье

Родился я еще в прошлом веке, в 1887 году, в патриархальной семье евреев-ашкенази. Представляешь? Незадолго до этого мой отец перебрался с Украины в Москву. По высочайшему царскому указу небедным евреям – приказчикам купцов первой гильдии, знатным мастерам, ростовщикам, людям образованным и талантливым – разрешалось покидать черту оседлости и поселяться в крупных городах и столицах. Родитель мой был искуснейшим парикмахером. Он, в отличие от других, брил так, что ни одного волоска не пропускал, не царапал кожу, придавая ей идеальную бархатистость и гладкость. А какие шедевры он создавал, делая парадные прически дамам! Его приглашали в самые богатые дома. К тому же он был человеком грамотным, обходительным и, что не менее важно, – имел приятную внешность. Один из его именитых клиентов, получив повышение по службе в известном московском ведомстве, не забыл и о своем «личном» парикмахере и добился позволения прихватить его с собой, уступив воплям супруги и заневестившихся дочерей.

Так отец оказался в Москве. Никакую родню, кроме жены, взять с собой ему не разрешили. Поселился он в старинном еврейском районе недалеко от Кремля, в Зарядье. Первое время жил с приезжими купцами в Глебовском подворье и бегал по клиентам, не гнушаясь самым малым заработком, пока не скопил денег, чтобы снять маленькую квартиру в Мокринском переулке во втором этаже кирпичного доходного дома. Название переулку дала старинная православная церковь Николы Мокрого. Весной и осенью прибрежные кварталы Зарядья нередко затапливало. Вода обычно доходила как раз до Мокринского переулку, поэтому в доме всегда пахло сыростью, зато и квартиры были дешевые. На первом этаже этого мрачного обшарпанного здания, облепленного разномастными вывесками, нашлось местечко и для крохотной парикмахерской. Летом его обитатели перебирались из своих тесных, затхлых каморок на галереи, или по-местному галдарейки, которые тянулись по фасаду дома со стороны двора. Все знали друг друга и все – о каждом.

Жизнь здесь кипела с раннего утра до поздней ночи: стучали молотки сапожников, стрекотал драгоценный «зингер», колдовали над меховыми обрезами умельцы, превращая зайцарусака в гордую шиншиллу, ковырялись в затейливых механизмах часовщики с лупой на лбу, носились дети, не поддающиеся счету, с которых не спускали глаз матери и бабки, сидя тут же с каким-нибудь рукодельем. Где-то жалобно пиликала скрипка. Словно сказочные птицы взмахивали «крылами» застиранные простыни и наволочки, рассекая дворовое пространство от одной галдарейки до другой в доме напротив. А по вечерам из открытых окон доносились печальные звуки «Ойфн вег щтейт а бойм» – еврейской колыбельной:

Стояло в поле деревцо,
Клонилося книзу.
На нем ни птиц и ни птенцов,
Их путь неблизкий.
.....
Ты только сильно не мешай,
Сказал я маме.
Хочу тебе пообещать:
Я птицей стану.
.....

Но плачет мамочка моя:
Что ты, сыночек!
Боюсь я очень за тебя,
Мой голубочек.
.....
Стать птицей мамина любовь
Мне помешала.

По субботам и праздникам воздух наполнялся дразнящими запахами струделя и яичных коржиков. С праздником Песах (Пасхи) сердечно поздравляли друг друга: «Хаг Песах sameах!», пекли горы мацы, вручая подарки детям, нашедшим спрятанный афикоман (кусочек средней мацы). Жили одной дворовой семьей. В пасхальный седер, за трапезой, вечером, читали агаду – о том, как выходили евреи из Египта.

Это – мое детство.

Мальчишкой я любил бегать на пристань через пролом в Китайской стене, в расщелинах которой росли рахитичные березки. Река манила, обещая необычайные приключения, каких вряд ли дождешься на грязных улочках Зарядья, засиженных горластыми торговками со всяким барахлом. Когда-то здесь причаливали пароходы, которые курсировали по Москве-реке, Оке и Волге, а теперь пристань захватили местные мальчишки, да иногда на вечернюю зорьку собирались рыбаки. Однажды отец взял меня с собой навестить родственников, которые жили за городом. От станции мы шли пешком через лес. После городской скученности и трущобной вони дурманящие запахи нагретой на солнце сосновой смолы кружили голову. Под ногами мягко пружинила прошлогодняя хвоя, озорные белки швырялись шишками, а высоко в голубом небе парили невиданные птицы, каких в Москве можно встретить только в зоосаде на Пресне – взъерошенных и угрюмых невольников за тюремными решетками. Прозрачные струи воздуха наполняли меня до краев, но так хотелось напиться ими впрок!

Вдруг за деревьями замелькали люди, и послышалось нестройное, но такое торжествующее: «Вставай, проклятьем заклеянный, весь мир рабочих и рабов!» На широкой поляне компания молодых людей с красными бантами на груди с восторгом внимала долговязому юноше в студенческой тужурке.

– Давай подойдем поближе, – дергал я отца. – Послушаем, как они поют. Я никогда раньше не слышал эту песню. А ты? Какие они необыкновенные! У нас в Зарядье таких не встретишь. У них тут пикник, да? Смотри, там скатерти постелены и корзинки с пирогами... Пахнет вкусно... – пустил я голодную слюну. – У нас во дворе ведь все друг друга угощают, может, и они...

– Пошли отсюда. Зачем нам эти гои с их песнями и флагами? Они потом замирятся со своими, а нас опять сделают крайними, – бормотал отец себе в бороденку, пихая меня в спину.

Бросив прощальный взгляд на эту идиллическую картину, я заметил верховых полицейских, окружавших поляну. И в тот же миг засвистели нагайки, крики несчастных взлетели к верхушкам столетних сосен, равнодушно взиравших на расправу у них под ногами.

– Бежим!! – поволок меня отец прочь от поляны.

В гости мы в этот день так и не попали. Лишь спустя годы я узнал, что оказался невольным свидетелем первой московской маевки. Я уже окончил пятый класс нашей семилетки и понимал, что скоро должен стать опорой отцу, но от запаха парикмахерской меня тошнило, как и от клиентов, которых за гроши надо было ублажать, предупреждая все их капризы. Каждое свиное рыло хочет видеть в зеркале парикмахера царственную особу. Богачи вызывали отца на дом и не скупилась на прихорашивание своих жен и дочерей, но обходилось это ему слишком дорого: путешествие по городу за пределами еврейского Зарядья было небезопасным. Все это оказалось не по мне. Я любил читать книжки, а когда открылся Художественный театр,

окольными путями пробирался туда, экономя на школьных завтраках, и замирал от счастья в глубине райка. Внешне я почти не напоминал своих сородичей, поэтому обходилось без эксцессов. К тому же меня там окружали бедные студенты и другой недрачливый молодежь. Этим восторженным театралам было не до меня.

В тот же год внезапно умер отец от разрыва сердца, прямо в своей парикмахерской. Брил клиента, крутясь вокруг него, потом вдруг резко выпрямился, удивленно ахнул и упал навзничь. А вскоре и матушка за ним последовала. На ней, тихой и незаметной, держалось все хозяйство дома и парикмахерской: беднякам не до прислуги. Так и осталась она в моей памяти согнувшейся над корытом с изработанными, разбухшими, будто ошпаренными, руками прачки, которые судорожно елозили по стиральной доске в такт худеньким лопаткам, вздымавшим с механической обреченностью пропотевшую сорочку. Когда-то самое прекрасное для меня лицо туманит завеса пара из огромной бельевой выварки с въедливым запахом щелока. Или это мои запоздалые слезы? Так в шестнадцать лет я сделался круглым сиротой. К этому времени с Украины смогли сюда перебраться наши дальние родственники. Но с отцовской парикмахерской пришлось расстаться. Как и с квартирой. Свои, конечно, приютили и помогли, чем могли, даже учебу не пришлось бросать.

* * *

С хорошенькой пампушкой Софочкой Канторович мы были знакомы с детства – жили в одном дворе и носились по одним галдарейкам. Ее отец, известный даже за пределами Зарядья портной, был самым богатым среди наших соседей и держался со всеми свысока, надеясь в скором времени перебраться поближе к Столешникову переулку или Кузнецкому Мосту, где обитали более «приличные» люди. Уже приглядел там лакомое местечко ближе к Неглинной. Со своей любимой дочкой, уже достигшей возраста бат-мицва, он связывал честолюбивые надежды, мечтая увидеть ее знаменитой на весь мир пианисткой. Бесконечные гаммы и никак не дававшийся Софочке «Полонез Огинского» довольно долго испытывали на прочность чадолюбие нашего двора. Но все верили, что когда-нибудь она будет блистать на сцене Большого – от Кузнецкого Моста, куда ее вскоре перевезет папаша, до него рукой подать.

К шестнадцати годам кудрявая глазастая хохотушка превратилась в грациозную волокую барышню, которая с убийственной легкостью предпочла Огинскому с его полонезом другую науку: «В угол, на нос, на предмет». Стрелять бархатными глазками в пушистых ресницах, покачивая крутыми бедрами и горделиво вздымая рвущуюся на свободу тугую грудь, было гораздо интереснее, чем день-деньской просиживать на крутящемся табурете, барабана по клавишам расстроенного пианино. Теперь при встрече с Софочкой я почему-то набычивался, прядая бордовыми от стыда ушами, и не знал, как оторвать жадный взгляд от ее волнующейся кофточки. Внутри у меня все вспыхивало, а внизу загоралось синим пламенем, я неловко горбился, стараясь прикрыть бесстыжий парус, который плевать хотел на мои приказы. Еще совсем недавно я мог запросто облапить ее, играя в салки, или закидать снежками, а теперь что-то во мне повредилось... Она приходила ко мне каждую ночь и такое со мной творила! А утром я просыпался в липкой кровати, не зная, как скрыть свой детский позор от взрослых.

Безусый местный молодежь, истекая слюной вожделения, готов был пасть к ногам торжествующей Софочки, но она, как ни странно, выбрала меня.

– Шалом, Сонька! Что ты во мне нашла? – набравшись нахальства спросил я, не смея верить своему счастью.

– Ты такой статный! Папа говорит, на таких шить – одно удовольствие. И лицо у тебя благородное, не как у того шлимазла, – кивнула она на рыжего парня с рыбьими глазами, вечно крутившегося под их галдарейкой. – Правда, когда ты смотришь на меня, разинув рот с выпирающими передними зубами, то становишься на нашего кроля похож, – хихикала красавица. –

А еще папа говорит, что ты очень умный и далеко пойдешь – будешь врачом или адвокатом. Жаль, говорит, молод еще для жениха, а то он бы не посмотрел, что ты сирота без гроша в кармане, взял бы в примачи.

– А ты, Софочка?

– А что я? Я завсегда не против, мишугинер¹ ты мой, – скромно опустила она смеющиеся глазки.

Софочке моей не суждено было стать известной пианисткой, блистать на сцене Большого театра, как и пойти со мной под хупу². В 1905 году затеянная в Петербурге «революция» обернулась в Москве еврейскими погромами. Все Зарядье было залито кровью. Добрались даже до воровской Марьиной Роши и до бедняцкого пригорода – Коптева, где компактно жили евреи. Пьяные толпы городской голытьбы, умело науськанные черносотенцами: «Евреи царя-батюшку убили!», крушили магазины, лавки, пекарни и мастерские. И грабили, грабили... А чего не могли унести с собой, бросали на улице в грязь, рвали, топтали. Снежной метелью кружил по переулкам пух из разорванных перин, оседаая в кровавых лужах. Людей отлавливали на улице и во дворах, выволакивали из домов, люто убивали, а потом еще долго глумились над трупами. А что делали с незащитными женщинами... Не щадили даже малышей. Кровожадные забавы этого зверья продолжались трое суток, оглашаемые диким воем по всему Зарядью. Полиция не спешила.

Красавицу Софочку, не испытавшую даже волнения первого поцелуя, прилюдно растерзали на глазах обезумевшего отца...

За пару дней до погрома я поехал с дядей, приютившим меня после смерти моих родителей, в Кимры на обувную фабрику присмотреть товар для его магазина. Вернувшись в Москву, мы застали жуткую картину. Обычно шумное, горластое Зарядье казалось вымершим. Под ногами зловеще хрустело битое стекло. По улочкам трусил бродячие собаки, вынюхивая разоренные мясные и колбасные лавки. Наш двор опустел. В осиротевших жилищах гулял ветер, а распахнутые створки окон с оборванными занавесками словно протягивали немощные руки, моля о пощаде. Где-то тоскливо и монотонно хлопали двери, скрипя ржавыми петлями.

– Ваших всех убили... Всех, – услышал я за спиной тихий голос. – Уходи, если есть куда.

Мой одноклассник смотрел на меня мертвыми глазами. Его отец служил приказчиком у богатого купца, и тот в последний момент успел спрятать его с семьей в потайном подвале амбара. Трое суток просидели они в этой холодной темнице без еды и воды, дрожа от страха. Домик их разграбили, а парализованного деда с бабушкой зарубили топором.

– А Софочка?! – просипел я, цепляясь за последнюю соломинку. – Они-то спаслись? У ее отца были такие связи... Успели, да? – заглядывал я с надеждой в его остановившиеся глаза, подернутые пленкой, как у подбитой птицы.

– Лучше тебе не знать всего... Нет, не могу, – зарыдал паренек. – Не прощу им этого никогда! Никогда, слышишь! Отомсти за нее! И за всех! Ты же сильный...

Дяде я ничем помочь уже не мог. Сначала он кричал, как раненый зверь, потом вдруг начал дико хохотать, потом вприпрыжку помчался на нашу галдарейку и, оступившись на самом верху лестницы, схватился за ветхие перила... Так он и лежал потом на земле с окровавленной головой, крепко зажав в руке останки лестничного ограждения.

Ноги сами привели меня после скороспелых похорон на Казанский вокзал. Кажется, в Малаховке есть какая-то дальняя родня.

¹ Мишугинер (идиш) – дурачок.

² Пойти под хупу – под венец.

В Петербург! Подальше от Москвы

Когда мне минуло двадцать, я решил податься в Петербург, подальше от Москвы с ее жуткими воспоминаниями. Петербург ошеломил меня своей строгой классической красотой. Такое я видел только на картинках в альбоме с атласными страницами и в кожаном тисненном переплете, по которому меня учили немецкому языку в Малаховке троюродные тетки. Это не сонная, купеческая, пряничная Москва с ее «сорока сороками» и Кривоколенными переулками. Это – настоящая европейская столица! По протекции «десятой воды на киселе» я устроился в типографию с воодушевляющим названием – «Энергия». Ее хозяин господин Шапиро был человеком либеральных взглядов и сочувствовал революционерам. Ровно настолько, чтобы считаться в своем узком кругу человеком передовых взглядов. Мне тогда было не до политики: прокормить бы себя самого. Хорошо бы еще получить образование и «выйти в люди».

Определили меня сначала в наборный цех. Я довольно быстро освоил нехитрую науку: из огромного касса-реала, установленного наклонно на высоком комодe с выдвижными ящиками и разделенного на мелкие ячейки для литер и пробельного материала, надо было выуживать по штучке с ловкостью обезьяны и вставлять требуемое в металлическую верстатку – небольшой ящичек с подвижной торцевой стенкой, которую устанавливают на нужный формат строки. Сначала набираешь одно слово, потом другое, потом всю строку. Потом всю страницу, которую следовало крепко-крепко обвязывать шпагатом – не рассыпать набор! – и переносить на стол метранпажа, который формировал из них и набитых на деревянные бобышки металлических клише целые печатные листы из нескольких страниц. Главное, при наборе не ронять литеры на пол – не найдешь, не говоря уж о тончайших шпациях.

К концу смены свинцовая пыль на руках смывается только керосином. Рабочие в типографии разговаривали на своем «птичьем» языке, изучать который приходилось прямо на ходу. Надо было разбираться в литерах – знать, что такое ножка, головка, очко, кегль, сигнатура и прочее. Надо было различать пробельный материал – где применяется и как называется. Все эти бабашки и марзаны, шпоны и реглеты, шпации и квадраты пустились в моей незамутненной премудростями голове в свободное плавание в поисках образов для их запоминания. Но самое трудное – выучить множество шрифтов разного рисунка и с разными названиями, которые к тому же бывают светлыми, полужирными и жирными, да еще прямыми и курсивными. А название кеглей: бриллиант, диамант, перль, нонпарель, миньон, петит, боргес, корпус, миттель, терция, текст, цицero – это же стихи! Фраза мастера: «Шапку на спусковой набери жирной рубленой курсивом, терцией или текстом, как влезет, а подвал – елизаветинской петитом, остальное – основной» – поначалу повергала меня в ступор.

Но постепенно я освоился и начал козырять типографскими словечками, подражая нашим мастерам, и за пределами типографии, приводя в изумление даже отъявленных сквернословов, которые принимали мой бессмысленный стрекот за высший класс бранной лексики. Мне нравилось в типографии, даже запах краски волновал. Главное в моей работе – внимательность и «устойчивость» (всю смену – на ногах) в работе, а свинцовая пыль и ввевшаяся в руки типографская грязь, подвластная только керосину, – не в счет. Содержание набираемого текста меня не очень интересовало – некогда было погружаться в его смысл, важна была скорость. Правда, за ошибки и пропуски нещадно штрафовали. Приходилось работать и ночами, когда шла газета: уже в шесть утра мальчишки-разносчики носились по проспектам: «Последние новости! Читайте последние новости!»

Как-то меня вызвал к себе в кабинет сам Шапиро.

– Вот что, э-э, как тебя? – пробасил он, попыхивая черешневой трубкой. – Мастер сказал, что в твоём наборе почти не бывает опечаток. Думаю, не определить ли тебя на место корректора? Наш-то уже и в очках ни черта не видит. Пора гнать его в шею. Как, справишься?

– Конечно, господин директор. Я люблю читать. А ошибки даже издали замечаю. Вот лежит отпечатанная стопа на поддоне, а я мимо прохожу и вижу, что на одной странице печатного листа – ошибка! Правда, из-за этого на меня почему-то многие злятся, – разоткровенничался я.

– Ладно, – взглянул он на меня так, будто шилом кольнул. – Смотри, не зачитайся только, политики разной много – искушение большое для ума незрелого.

Особенно тяжело приходилось в ночную смену: слабосильная электрическая лампочка, густо засиженная мухами, мало способствовала поиску опечаток в длиннющих гранках, набранных петитом или того хуже – непарелью. Но самое коварное – это «шапки» с крупнокегельным шрифтом. Именно в них чаще всего и закрадываются ошибки, которые так и называют: «глазные». Не одно поколение корректоров из-за них лишалось работы, а то и головы... К концу смены опухшие красные глаза готовы были выкатиться на грудь. Как я ни остерегался, коварная политика все же захватила меня и уже никогда не отпускала более.

Однажды в ночную смену ко мне подошел наш печатник:

– Слышь, парень! Тут надо бы кое-что набрать. Немного, всего полстранички акцидента.

– А эти что же? – кивнул я на склоненные над касса-реалами головы, нехотя отрываясь от гранки, которую правил.

– Им нельзя, а тебя никто не заподозрит. Выручи товарищей, – то ли попросил, то ли приказал печатник.

Мне иногда действительно самому приходилось вставать к касса-реалу, чтобы по-быстрому заменить в наборе ошибочные литеры. Отказаться сейчас – значит нажать себе врагов среди своих.

Печатник возился около тигельной машины с приладкой. Рядом на поддоне лежала подготовленная к работе стопа бумаги: разрезанные по нужному формату бракованные листы, запечатанные с одной стороны. Так и вышли эти листовки с пламенными призывами к забастовке, на обороте которых остались обрывки текста из брошюры «Советы домохозяйки». Ушлый Шапиро быстро раскрыл это «преступление». Попались, как всегда, на ерунде, забыв, что скарденый хозяин ведет строгий учет всему, даже количеству бракованных листов бумаги, которые используются на приладку или пачкаются краской при сбое печатной машины. Уже через день мы с печатником оказались вольными птицами – на улице. В полицию Шапиро заявлять не стал – себе дороже.

Вскоре я по знакомству устроился корректором в солидную типографию Фельдмана, которая печатала в числе прочего важные государственные указы и документы. Мне положили хорошую зарплату в тридцать два рубля, да еще я иногда подрабатывал репетиторством, подтверждая расхожее мнение, что русский язык лучше еврея никто не знает. Пора было задуматься о женитьбе, хотя несчастная Софочка никак не хотела покидать мое одинокое сердце. Но тут грянула Империалистическая. Думали за полгода справиться и «шапками закидать» германца и даже не предполагали, каким кошмаром это обернется: позорное поражение на фронте, повсеместные стачки рабочих и солдат, свержение царя, быстро подкравшийся голод и разруха, а в результате – Февральская революция и Временное правительство. На фронт меня не брали – типография, в которой уже некому было работать, дала бронь.

Мне не довелось выучиться на врача или адвоката, как предрекал когда-то Софочкин отец. Евреев в университет неохотно брали, да и платить за обучение нечем было. Моим университетом стала корректорская, просвещающая и направляющая. Меня все больше и больше кружил вихрь революции. Свобода! Не ее ли так жаждал мой веками гонимый народ? Как горячо об

этом говорит товарищ Ленин, вернувшийся в апреле 1917-го в Петербург! Свергнуть ненавистный капитализм, прогнать буржуев, освободить рабочих и крестьян:

Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим!
Кто был никем, тот станет всем!

Однако после октябрьской эйфории в городе, именовавшемся теперь Петроградом, становилось все тревожнее, холоднее и голоднее. К тому же я лишился работы – хозяин нашей типографии бежал, устроив на прощанье там вселенский пожар. Я надумал вернуться в Москву, куда меня звали дальние родственники, мечтая сплавить мне их великовозрастную дочку, которую они никак не могли пристроить в надежные руки. Конечно, пора бы и жениться – за тридцать перевалило, но не на старой же деве!

Мои друзья-газетчики, чьи статьи я безжалостно вымарывал, чтобы в них прорезался какой-никакой смысл, снабдили меня рекомендательными письмами к своим московским коллегам. Но я все же решил записаться добровольцем в Красную армию. Завоеванную революцию одними лозунгами не защитить.

Особая типография

В Москве тоже было тревожно, но пока не голодали. Большевики спешили создать новые органы власти и в первую очередь те, которым предстояло защищать молодую республику, сотрясаемую Гражданской войной. В сентябре 1918 года сформированный Троцким Реввоенсовет республики уже представлял собой единый военный кулак. Его Полевой штаб стал высшим оперативным органом Главкомандования Красной армии. В Регистрационном управлении Полевого штаба, помимо других служб, той же осенью открывалась особая типография. Оборудование реквизировали у частных типографий – добротное немецкое, фирмы «Гейдельберг и К°», только работать на нем было особо некому: старые кадры рассеялись – кто погиб на Империалистической или во время последних революций, кто воевал на Гражданской, а кто и в деревню, к своим корням, подался, спасаясь от вселенской смуты и надвигающейся голодухи.

К тому же новая власть не всем пришлась по душе. А она, новая власть, кадры тоже подбирала по принципу «свой – чужой». Преданный делу революции пролетарий – проходи! Остальные, мещане всякие и прочие, – ни-ни! Только и революция подняла со дна столько пенной мути, что и сама не рада сделалась: ее именем теперь прикрывались все кому не лень – и городская голытьба, и шпана, и бандиты, и шарлатаны, охочие до чужого и радующиеся безнаказанной возможностью изгаляться над «буржуями», к коим причисляли и тех, кто создавал все то, что они крушили с животным наслаждением. Наглость и напористость недоучек, зачастую самых настоящих пройдох, негодяев и мошенников, всегда державших нос по ветру, не могли заменить годами наработанное мастерство, законопослушание и элементарную рабочую совесть.

С кадрами была беда... Узнав, что я семь лет работал в известных питерских типографиях и освоил все полиграфические премудрости, знакомый большевик, опытный метранпаж Иван Лукич, которому поручили запустить особо секретную типографию, вцепился в меня не на шутку:

– Где ты найдешь еще такую работу? По всей Москве одно разоренье – типографии-то в основном частные были. Какие из них национализировали, какие – сам знаешь... Народ толковый поразбежался. Жить-то тебе ведь негде? Неужто в примачки к этим пойдешь? – ехидно намекнул он на моих настойчивых сватов. – А тут тебе и паек и общежитие... – увещевал он.

– Да что я один сделаю? – отбивался я от наседавшего метранпажа. – В наборном буду бегать от касса-реала к монотипу, а потом в печатном от машины к машине – и высокую, и плоскую, и глубокую печать обеспечу, и на тигельной акцидент прогоню между делом? А потом перед гильотиной попрыгаю – и в переплетный! И на ночь глядя гранки выправлю! Сам ведь знаешь – в любом деле свой мастер нужен! – возмущался я, загнанный в угол. – Вон у нас в Питере: прежде чем настоящим печатником стать, человек не один год в его помощниках побегает с кипой бумаги на пузе, да краски вдосыт надышится. Ты руки их видел? Все бумагой изрезаны (попробуй, резани – узнаешь), а кисти так разработаны, что одним движением задуют человека, тот и пикнуть не успеет. Сам видел... – брякнул я. – И это в высокой печати! А для плоской или глубокой, чтобы цвет работать, вообще художник нужен, а не просто печатник! Кто тебе будет цинкографию обслуживать? Там ведь тоже и фотографы, и ретушеры, и граверы, и химики, и прочие нужны. Забыл?

Весь мой страстный монолог Лукич пропустил, казалось, мимо ушей, попыхивая вонючей трубкой и умильно поглядывая на меня хитрыми глазками, которые утопали в морщинках, вкривь и вкось избороздивших его мясистое лицо.

– Начинать-то все ж надо, – укоризненно взглянул он на меня. Мне одному не совладать. – Помоги только наладить, да людей нужных подыскать. За всем ведь глаз да глаз надо-бен! Как я один управлюсь? А ты грамотный и в новой технике нашей хорошо понимаешь, и

весь процесс знаешь, аж от зубов отскакивает, – бессовестно льстил он мне, исподволь завершая свой злодейский маневр: – Я потом попрошу, чтобы тебя начальником сделали, – бросил он последний козырь.

– На кой мне такой хомут на шею? – фыркнул я. – Да еще в секретной типографии. Ты не забыл, что я еврей? – привел я убийственный довод, уже понимая, что выхода нет, раз «товарищи» взяли меня «на карандаш».

– Ох, – осклабился Лукич, – да у нас в Управлении половина евреев, и на каких должностях! Тебе и не снилось! И в самом Реввоенсовете тоже! Даже товарищ Троцкий... – вдруг осекся он и взглянул на меня сурово: – Ну вот что. Дело это решенное. Твою кандидатуру одобрили. Я расписал тебя, как надо. Еще магарыч с тебя полагается – не заныкай! А с воинским начальством твоим все уже утрясли.

И все же мы с неутомимым Лукичом управились – запустили типографию к установленным руководством срокам. Правда, домой ходить совсем было некогда – оборудовали каморку, там же готовили себе немудрящую еду, там и спали на тюфяках. Я рыскал по Москве и окрестностям в поисках кадровых типографщиков, которых еще нужно было уговорить, а потом довольно долго «проверять на лояльность власти». Но нередко приходилось убеждать высокое начальство в том, что лояльность, как и верность делу революции, годами наработанного мастерства уж точно не заменит. Однако и начальство понять можно: материалы у нас печатались особой важности, время военное, повсюду заговоры – действительные и мнимые. Желающих проникнуть в закрытую типографию и исподволь заниматься там вредительством было еще довольно много из притаившихся осколков разгромленных подпольных организаций.

Гражданская война охватила всю бывшую империю, власть то и дело переходила из рук в руки. Разоренное хозяйство, шпионаж и контрреволюция душили молодую республику. Немногочисленное старое офицерство и профессионалы царской охраны, перешедшие на службу к Советам, полагая, что Родину не выбирают и при любой власти, нравится она тебе или нет, ее нужно защищать, не могли обеспечить безопасность в стране. Оставалось одно – срочно готовить новых спецов, преданных делу революции, проверенных большевиков. Ленин говорил, что главное – это надежность кадров, а профессионализм – дело наживное. Осенью 1918 года при нашем Регистрационном управлении открылись Курсы разведки и военного контроля – первое учебное заведение для подготовки элиты пролетарских военных разведчиков и контрразведчиков. Начальником Курсов стал их создатель и идеолог – бывший царский офицер.

Начальником типографии я, конечно, не стал. Меня, как человека грамотного, направили на учебу на эти Курсы, оценив по достоинству мои титанические усилия на типографском фронте и какой-никакой военный опыт. Так в тридцать один год мне пришлось вновь сесть «за парту». Нарядный одноэтажный дом с мезонином начала XIX века на Пречистенке, украшенный лепниной и шестиколонным портиком, горделиво ступал на тротуар, демонстрируя улице свою ампирическую роскошь. Я сначала немного растерялся: разве могут такие важные Курсы располагаться в одном из самых «буржуйских» районов Москвы? А как же революционный аскетизм, провозглашаемый большевиками? Почему не боевая фабричная Красная Пресня? Но у парадного подъезда особняка мелькнули островерхие шлемы со звездами – и я понял, что не ошибся адресом. Отмахнувшись от назойливых вопросов, я шагнул в неведомое.

Курсы разведки и военного контроля

Оказалось, что для поступления на Курсы одной политической подкованности мало – нужны еще и знания. Народ тут собрался разношерстный: прибывшие с фронта по разнарядке – начинающая агентура, выпускники царских военных училищ или революционных инструкторских курсов, а также рабочие, отличившиеся в боях за революцию, партийные выдвиженцы и те, кого рекомендовали всевозможные руководители (протекционизм процветал точно так же, как и при царе). Треть претендентов отсеяли сразу: среди направленных на учебу оказалось много малограмотных, людей случайных, а то и просто авантюристов. Рядом со мной в приемной ожидали вызова трое молодцев в косоворотках и сапогах гармошкой, которые всячески подчеркивали свою «бывалость»: громко похвалялись агентурными подвигами, поглядывая по сторонам: всем ли слышно? В выражениях не стеснялись, смачно сплевывая на пол и злорадно втаптывая окурки в пушистый ковер, будто мстили ему за что-то.

Их вызвали первыми. Члены комиссии, в основном военные, во главе с начальником Курсов сидели за длинным столом, покрытым зеленым бильярдным сукном, на котором громоздились папки с делами поступающих.

– Комиссия рассмотрела ваши документы и результаты вступительных испытаний, – начал секретарь. – И у нее возникли сомнения в вашей компетентности...

– В чем, в чем? – перебил его самый нахальный, цыкнув зубом. – Каки таки сомнения? Па-а-звольте! У нас мандат! Должны принять! Мы за революцию жизнь клали, а ты, буржуй недорезанный, ух, попался бы мне в другом месте! Я б ты, золотопогонника, прижа-ал!

– Сомнения в вашей способности к обучению на наших Курсах, – бесстрастно ответил секретарь, прибавив металла в голосе.

– Это вы-то нас решили учить, как разведку делать? – ощерились молодцы. – Да мы сами вас чему хошь научим! Давай документ – талоны на жратво и обмундировку. Нам сказали – тут на полное довольство ставят.

– Учите, так и быть! – миролюбиво разрешил самый нахальный, почуввав, как уплывает выпавшее им счастье хоть и временного, но спокойного столичного бытия вместо непредсказуемого фронтового существования, и победно оглядываясь на дружков: «Во, как я их!»

Документ им дали: «Вернуть по месту службы как не выдержавших испытания».

Следующим был я. Возбужденная перепалкой комиссия «рассмотрела» меня за пять минут. Характеристика с места службы (Лукич постарался), опять же работник типографии Регистрационного управления, вступительные испытания успешно одолел, знает немецкий язык, да и возраст солидный – не шпана сопливая. К тому же успел повоевать в Красной армии добровольцем. Так я стал курсантом Курсов, которые определили всю мою дальнейшую жизнь. Распределение слушателей по отделениям – разведки и военного контроля – проводилось после общих ознакомительных лекций и собеседования с профессором психологии из университета, который задавал нам странные вопросы и показывал какие-то картинки. Теоретические занятия проходили в соседней старинной усадьбе, а практические либо в воинских частях, либо за городом.

В красивом четырехэтажном особняке располагалось Оперативное управление Полевого штаба Реввоенсовета. Говорят, сюда часто приезжает сам Ленин связаться по прямому проводу с фронтом. Может, удастся повидать его хоть мельком? Хотя вряд ли – наши занятия проходят в другом крыле здания на верхнем этаже. Помещение снаружи и внутри охраняют латышские стрелки. Почему не свои? Выходить в город не разрешается. Казарму и столовую для слушателей устроили в следующей усадьбе, принадлежавшей прежде фабриканту с говорящей французской фамилией – Жиро. Теперь в его бывших хоромы будут «жировать» курсанты. Поначалу наши узкие железные – «арестантские» – койки, покрытые грубошерстными

солдатскими одеялами, в интерьерах парадной залы смотрелись диковато, но очень скоро ее стены, обитые китайским шелком, пропитались «революционным» духом новых постояльцев и утратили свою «буржуазность».

За три с небольшим месяца нам предстояло изучить столько, сколько и за три года многим не одолеть. Помимо общеобразовательных предметов мы должны были освоить военное дело, а также изучить задачи и методы разведки и контрразведки. А еще были иностранные языки и психология. Особое внимание также уделялось химии. Жесткие требования к усвоению такого объема информации поначалу сильно напрягали курсантов. Многие слушатели не выдерживали, жалуясь начальству на чрезмерную требовательность преподавателей, в чем видели их злокозненность. Но ответ начальства был один: без всех этих знаний нельзя стать высококлассным разведчиком, а тем более – контрразведчиком. Не можешь, не способен, не уверен в себе – на выход! Меня спасали корректорский опыт и навык обработки больших объемов текста.

Лекции по военной теории подкреплялись практическими занятиями. Мы учились вести секретную переписку, осваивали приемы шифрования и дешифровки, а также военной цензуры, проводили химические опыты по вскрытию и запечатыванию писем и пакетов. Изучали фотографию, антропологию, дактилоскопию и опыт организации агентурной разведки последней войны. Проводили занятия по организации разведслужбы и руководства ею в штабах бригад и дивизий в боевой обстановке. Отрабатывали технику разведки (обработку разведанных, составление разведсводок, боевых расписаний, схем, диаграмм и прочего), а также ведения наружного наблюдения. С военной техникой и средствами связи мы знакомились в разных частях московского гарнизона. Напряженные аудиторные занятия разнообразили поездки за город, где мы учились производить топографические съемки и военную рекогносцировку районов местности.

Профессор Московского университета читал нам пространные лекции по социальной психологии, о которой мы не имели никакого представления, обычно полагаясь на свой житейский опыт. Он утверждал, что любой коллектив, любое сообщество, с точки зрения психологии, представляет собой организованную психологическую массу, иначе говоря толпу. И каждая толпа обладает присущей только ей духовной природой. Разведчик и контрразведчик имеет дело с разными массами людей, поэтому должен прекрасно разбираться и в различных свойствах этих масс. И отлично разбираться в людях, знать все тонкости психотипов человека... если хочет подольше прожить при такой беспокойной «работе». Преподаватели французского, немецкого, английского, японского, шведского и финского пытались вдолбить нам начальные знания этих стратегически важных иностранных языков – но только тем из нас, кому они давались. Языковые занятия проходили уже после ужина – «на сладкое». Главное потом – доползти до своей койки.

Многим слушателям Курсы открывали глаза и на общую культуру, особенно на культуру поведения, вплоть до умения вести себя прилично – за столом, в помещении, на улице, в аудитории и... в туалете. Обучение этой «дисциплине» нередко приводило в отчаяние наших преподавателей: «разруха» в головах преодолевалась зачастую труднее, чем тайнопись или шифрование. Но идейный вдохновитель и начальник Курсов твердо стоял на своем: пролетарские кадры большевистских спецслужб должны быть во всем на высоте. Он жестоко карал тех, кто нарушал внутренний распорядок, навсегда отучив любителей харкать на пол, мочиться куда попало, материться, горланить непристойности и манкировать личной гигиеной от этих и прочих дурных привычек. Он видел их «аристократами» военной разведки Красной армии и сделал все, чтобы выпускники Курсов стали настоящими профессионалами в своем деле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.